



К 90-летию Герольда Бельгера

Герольд БЕЛЬГЕР

МИМОХОДОМ

ВСТРЕЧА

– Я тебе не рассказывал про свою встречу с отцом?.. Разве?.. Ну так вот, слушай. Сколько живу, радостнее случая в моей жизни не было... Да-а...

Было мне полтора года, когда отца забрали на фронт. Это еще в ту войну, в первую, в четырнадцатом году. Я, конечно, этого не помню. Мать потом уж рассказывала.

Ну вот, уехал, значит, отец, и ни слуху ни духу, как в воду канул. Через три года мать за другого вышла. Тяжелый был человек отчим, неудобный какой-то... Худо мне стало. Холодал, голодал, обиды разные терпел, пацаном нанялся в подпаски, одним словом, горя хлебнул – будь здоров. Сам понимаешь, без отца житуха не сахар. Однако из села родного не ушел, не бродяжничал и милостыню не кланчил, рано женился, на такой же горемыке, с голытьбой в колхоз подался, халупу себе построил, полегчало вроде маленько. Двух пацанок с бабой наваляли...

А тут – война. Забрали меня, значит, уже в первый месяц. И воевать-то толком не успел, через полгода ранило в руку. По пути в госпиталь попал под обстрел, снарядом раздробило колено. Еле очухался. Коленный сустав замкнули. Рука плетью болтается. Семь сантиметров кости выкинули... Ну, домой, значит, вернулся, жену, пацанок обнял и запрягся в колхозное ярмо. Кругом нищета, одно бабье. Возил горячее, был конюхом, пастухом, сторожем, завфермой, бригадиром, учетчиком. Работы много, жрать нечего. А семья растет. Семь человек детей мы с Валькой сообразили. И не пойму как... Она ведь в колхозе вкалывала не хуже моего. В четыре утра уже на ферме, поздно вечером еле мослы волокёт. А дома целая орава. Корми, вари, стирай, обшивай. Правда, мать-старуха малость подсобляла. Ничего. Выдюжили. Опять маленько вроде бы налаживаться стала жизнь. Дети подросли. Двое, довоенные, замуж повыскакивали... Остальные в школу бегали... И вдруг жизнь опять подлость выкинула. Умерла Валька. Не болела, не жаловалась, а как-то сразу скovyрнулась. Я так потом подумал: надорвалась. Хотя и говорят, что бабы семижилные, а видно, через край хватила. Осиротели, значит. Дом как бы пустой стал. Запил с горя. Ох, и пил! Как зверь. Роком стала жизнь. Как в бреду. Даже не помню толком, как жил. Видит теща – а она в соседней деревне жила – совсем худо детям. Ну, поженила меня на сестре жены-покойницы, на свояченице, стало быть. Та тоже вдова была. С тремя. Опомнились. Детям хорошо. Сима им и тетя родная, и мать. Всех на ноги подняли. Кто в трактористы, кто в шофера пошел. Девки на ферму. Семьями обзавелись. Много в селе Олейниковых стало.

И вот однажды я услышал как-то, что в соседнем районе тоже какой-то старик Олейников проживает. Ну, и что из того? Проживает так проживает...

Мало, что ли, Олейниковых на белом свете, хотя и, полагаю, меньше, чем, скажем, Ивановых или там Петровых-Сидоровых. Однако сомнение грызет. Сердце свербит. А вдруг отец? Тот самый, что с концом исчез еще в четырнадцатом? Как подумал так, покоя лишился. Надо бы проверить, думаю. Купил пузырек на всякий случай, взял с собой меньшого и айда с дружкой-шофером в тот совхоз.

Вечером дело было. Узнали дом, приехали. У хозяйки спрашиваю: «Здесь Олейников живет?» – «Здесь», – говорит. «А где он?» – «Лошадь стреноживать пошел. Скоро придет». Ладно. Сидим возле машины, курим. А уж темнеть начало. Подходит старик с бородой. В руке уздечка звякает. Зыркнул исподлобья на нас. Спрашивает: «Хлопцы, нет ли у вас закурить?» Закурили. Я смотрю на него, а сам чувствую: сердце бухает. Дрожь какая-то по телу прошла. Оторопь. «Скажите, как вас звать-величать?» – говорю. Старик сощурился на меня, потом ответил: «Максим Павлович, а фамилия – Олейников». Похолодел я весь, хочу улыбнуться – не могу. Руку протягиваю, говорю: «Будем знакомы. Я тоже Олейников. Иван Максимович».

Вижу: старик метнул на меня взгляд, зенки забегали, и рука дрогнула. Он молчит. Я молчу. Стоим как два телеграфных столба, друг на друга вылупись. «Господи, сын?! – говорит вдруг старик. Голос сиплый. Не поймешь, то ли спрашивает, то ли утверждает. – Ванятка, ты?» И бросился ко мне, заграбастал, стиснул, крепкий оказался. Оба плачем стоим, друг друга по плечу хлопаем. Потом в хату повел, кричит: «Мать! Сын-то, сын нашелся! Живой он, Ванятка!»

И весь вечер плакал старик, никак успокоиться не мог: то меня обнимал, то Витьку, меньшого-то моего, внука, значит, всё спрашивал, удивлялся: «Ну надо же, а!», суетился, по хате бегал, удручался, что водки нет, чтобы опрыснуть встречу. Как-никак пятьдесят лет с гаком не виделись. Целая жизнь...

Выставил я на стол пузырек. Опомнился отец-то. О матери всё расспрашивал. Потом рассказывать начал. Оказывается, воевал с четырнадцатого по двадцать первый год без передышки. Сначала с немцами, потом в гражданскую, с Махно, а кончил войну в Феодосии, когда Врангеля прогнали. Что жена вышла за другого, узнал еще в семнадцатом году. Поэтому домой возвращаться не стал, осел на Украине, женился, а в пятьдесят четвертом подался в Казахстан и поселился в соседнем со мной районе. Ну, прямо как в кино...

Конечно, про себя я тогда подумал: а почему он меня не искал, справки не наводил, не интересовался никогда, как-никак, сын я ведь ему, хоть и махонький был, когда его на войну забирали. Но не спросил. К чему это? Оба жизнь прожили. Зачем прошлое ворошить? И он, и я старики теперь. Чего уж там...

А потом он приезжал ко мне в гости. Вместе с женой. Она на двадцать лет, что ли, его моложе. Самогон дул, плясал, всех внуков обошел, с матерью всё беседовал. Сидят старички, молодость вспоминают, улыбаются друг другу, песни поют. Старинные такие, жалостные. Всё про любовь да про разлучницу-злодейку. А эта, вторая-то, заревновала, должно быть, взъерепенилась что-то, расшумелась и ночью одна на станцию убежала. Умора... А отец три дня у меня гостевал.

Вот так на старости лет, когда уже сам внуками обзавелся, обрел неожиданно отца. И как-то помолодел сразу, сердцем оттаял.

Приятно, что на свете у тебя есть отец... Ей-богу.

